

МИХАИЛ БАКУНИН

Русский мыслитель и революционер

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ

КТО ОПИРАЕТСЯ НА АБСТРАКЦИЮ,
ТОТ И УМРЕТ В НЕЙ



Москва
2023

УДК 1(091)(47)

ББК 87.3(2)

Б19

Бакунин, Михаил Александрович.

Б19 Государственность и анархия / Михаил Бакунин. — Москва : Эксмо, 2023. — 352 с. — (Философия в кармане). ISBN 978-5-04-182099-2

Михаил Бакунин — русский мыслитель и революционер, стоял у истоков социального анархизма. Самым значительным из сочинений Бакунина является «Государственность и анархия». В этой книге Бакунин утверждал, что в современном мире есть два главных направления: государственное и социал-революционное. Бакунин считал, что самая способная к развитию государственности нация — немцы. Он пытался доказать, что борьба с пангерманизмом является главной задачей для всех народностей славянского и романского племени.

УДК 1(091)(47)

ББК 87.3(2)

ISBN 978-5-04-182099-2

© Оформление. ООО

«Издательство «Эксмо», 2023



Интернациональное общество рабочих, едва зародившееся тому назад девять лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуататоров чернорабочего труда смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и мало определенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственно-экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам.

Известно, что по окончании последней войны, сломившей историческое преобладание государственной Франции в Европе и заместившей его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственного пангерманиз-

ма, мероприятия против Интернационала сделались любимой темой междуправительственных переговоров. Явление чрезвычайно естественное. Государства, по существу своему друг другу противные и до конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном поработании народных масс, составляющих общую основу и цель их существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и останется главным возбудителем и двигателем этого нового Священного союза. Но не он первый выступил со своими предложениями на сцену. Он предоставил сомнительную честь подобной инициативы униженному правительству только что разгромленного им французского государства.

Министр иностранных дел псевдонародного правления, неизменный изменник республики, но зато верный друг и защитник ордена иезуитов, верующий в Бога, но презирающий человечество и презираемый, в свою очередь, всеми честными поборниками народного дела, пресловутый ритор Жюль Фавр, уступающий разве только одному г. Гамбетте честь быть прототипом всех адвокатов, с радостью принял на себя роль злостного клеветника и доносчика. Между членами так называемого правительства *«Национальной Защиты»* он, без сомнения, был один из тех, которые наиболее способствовали обезоружению народной обороны и явно изменнической сдаче Парижа в руки надменного, дерзкого и беспощадного победителя. Князь

Бисмарк одурачил его и надругался над ним в виду целого света. И вот, как бы возгордившись двойным позором, и своим собственным, и позором преданной, а может быть, и проданной им Франции, побуждаемый в одно и то же время желанием угодить осрамившему его великому канцлеру победоносной Германской империи, а также и глубокою ненавистью своею к пролетариату вообще, а в особенности к парижскому рабочему миру, г. Жюль Фавр выступил с формальным доносом против Интернационала, члены которого, стоя во Франции во главе рабочих масс, пытались возбудить восстание всенародное и против немецких завоевателей, и против домашних эксплуататоров, правителей и предателей. Преступление ужасное, за которое Франция официальная или буржуазная должна была наказать с примерною строгостью Францию народную!

Таким образом случилось, что первым словом, произнесенным французским государством на другой день страшного и постыдного поражения, было слово гнуснейшей реакции.

Кто не читал достопамятного циркуляра Жюля Фавра, в котором грубая ложь и еще грубейшее невежество уступают лишь бессильной и яростной злости республиканца-рenegата? Это отчаянный вопль не одного человека, а целой буржуазной цивилизации, истощившей все на свете и осужденной на смерть своим окончательным изнеможением. Чувствуя приближение неминуемого конца, она с злобным

отчаянием хватается за все, лишь бы продлить свое зловредное существование, призывая на помощь всех идолов прошедшего, низвергнутых некогда ею же самою, — и Бога, и церковь, и папу, и патриархальное право, а пуще всего как вернейшее средство спасения полицейское покровительство и военную диктатуру, хотя бы далее прусскую, лишь бы она охраняла *«честных людей»* от ужасной грозы социальной революции.

Циркуляр г. Жюля Фавра нашел отголосок, и где бы вы думали — в Испании! Г. Сагаста, минутный министр минутного испанского короля Амедея, захотел, в свою очередь, угодить князю Бисмарку и обессмертить свое имя. Он также поднял крестовый поход против Интернационала и, не довольствуясь бессильными и бесплодными мероприятиями, вызвавшими только весьма обидный смех испанского пролетариата, также написал фразистый дипломатический циркуляр, за который, однако, с несомненным одобрением князя Бисмарка и его адъютанта Жюля Фавра получил заслуженную нахлобучку от более осмотрительного и менее свободного правительства Великобритании, а спустя несколько месяцев и свалился.

Кажется, впрочем, что циркуляр г. Сагасты, хотя и говоривший во имя Испании, был задуман, если не сочинен, в Италии под непосредственным руководством многоопытного короля Виктора Эммануила, счастливого отца несчастного Амедея.

В Италии гонение против Интернационала было поднято с трех разных сторон; во-первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов Интернационала с франкмасонами, с якобинцами, с рационалистами, деистами и либеральными католиками. По определению св. отца, принадлежит к этому отверженному обществу всякий, кто не покоряется слепо его боговдохновенным словоизвержениям. Так точно 26 лет тому назад один прусский генерал определял коммунизм: «Знаете ли вы, — говорил он своим солдатам, — что значит быть коммунистом? Это значит мыслить и действовать наперекор высочайшей мысли и воле его величества короля».

Но не один римско-католический папа проклял Интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер *Джюзеппе Маццини*, известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как метафизик-деист и основатель новой церкви в Италии, да, сам Маццини в 1871 году, на другой день после поражения Парижской Коммуны, в то самое время как зверские исполнители зверских версальских декретов расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению также и свое, якобы патриотическое и революционное, в сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем бо-

гословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к Парижской Коммуне и задушить в зародыше только что возникавшие интернациональные секции. Вышло совсем напротив: ничто не способствовало так усилению этих симпатий и умножению интернациональных секций, как его громкое и торжественное проклятие.

Итальянское правительство, враждебное папе, но еще более враждебное Маццини, в свою очередь, не дремало. Сначала оно не поняло опасности, грозящей ему со стороны Интернационала, быстро распространяющегося не только в городах, но даже в селах Италии. Оно думало, что новое общество будет лишь служить противодействием успехам буржуазно-республиканской пропаганды Маццини, и в этом отношении оно не ошиблось; но оно скоро убедилось, что пропаганда принципов социальной революции в среде страстного населения, доведенного им же самим до крайней степени нищеты и угнетения, для него опаснее всех политических агитаций и предприятий Маццини. Смерть великого итальянского патриота, воследовавшая скоро после его гневного выступления против Парижской Коммуны и против Интернационала, вполне успокоила с этой стороны итальянское правительство. Обезглавленная партия маццинистов не грозит ему отныне ни малейшею опасностью. В ней начался уже видимый процесс разложения, и так как ее начала

и цель, а также и весь состав чисто буржуазные, то она являет несомненные признаки той немощи, которою поражены в наше время все буржуазные начинания.

Другое дело пропаганда и организация Интернационала в Италии. Они обращаются прямо и исключительно к чернорабочей среде, которая в Италии, равно как и во всех других странах Европы, сосредоточивает в себе всю жизнь, силу и будущность современного общества. Из буржуазного мира примыкают к ней только те немногие люди, которые от души возненавидели настоящий порядок, порядок политический, экономический и социальный, повернулись спиною к классу, их породившему, и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется, только тогда, когда, возненавидев общее буржуазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия; в таком случае, повторю я, они действительно драгоценны. Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву; но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и разобшения и умение организовать и создавать союзы, которые, в свою очередь, создают ту сознательную боевую силу, без которой немислима победа.

В Италии, как в России, нашлось довольно значительное количество таких молодых людей, несравненно более, чем в какой-либо другой стране. Но, что несравненно важнее, в Италии

существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большею частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат, состоящий из двух-трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян-несобственников. Как уже сказано выше, вся эта бесчисленная масса людей доведена притеснительным и воровским управлением высших классов под либеральным скипетром короля-освободителя и собирателя итальянских земель до такого отчаянного положения, что самые поборники и заинтересованные участники настоящего управления начинают признаваться и говорить громко как в парламенте, так и в официальных журналах, что далее идти по этому пути невозможно и что необходимо сделать что-нибудь для народа во избежание всеразрушающего народного погрома.

Да, может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии, нигде, не исключая даже самой Испании, несмотря на то, что в Испании уже существует официальная революция, а в Италии, по-видимому, все тихо. В Италии весь народ ожидает социального переворота и всякий день сознательно стремится к нему. Можно себе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается поныне итальянским пролетариатом программа Интернационала. В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительно-

му заработку, хвастающегося даже в некоторой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и в Швейцарии таких работников много; в Италии же, напротив, очень мало, так мало, что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции.

Об этом мы поговорим ниже пространнее, теперь же ограничимся выводом следующего заключения: именно вследствие этого решительного преобладания нищенского пролетариата в Италии пропаганда и организация Интернационального общества рабочих в этой стране приняли характер самый страстный и истинно народный; и именно вследствие этого, не ограничиваясь городами, они немедленно охватили сельское население.

Итальянское правительство вполне понимает ныне опасность этого движения и всеми силами, но тщетно старается задуть его. Оно не издает громких, фразистых циркуляров, но

действует, как подобает полицейской власти, втихомолку, душит без объяснений, без крика. Закрывает наперекор всем законам одно за другим все рабочие общества, исключая только те, почетными членами которых считаются принцы крови, министры, префекты и вообще люди знатные и почтенные. Все же другие рабочие общества оно гонит немилосердно, захватывает их бумаги, их деньги, а членов их держит по целым месяцам без суда и даже без следствия в своих грязных тюрьмах.

Нет сомнения, что, действуя таким образом, итальянское правительство руководствуется не только своею собственною мудростью, но также советами и указаниями великого канцлера Германии, точно так же, как прежде следовало послушно приказаниям Наполеона III. Итальянское государство находится в том странном положении, что по количеству жителей и по объему своих земель оно должно бы быть причислено к великим державам, по своей же действительной силе, разоренное, гнило организованное и, несмотря на все усилия, весьма плохо дисциплинированное, к тому же ненавидимое народными массами и даже мелкой буржуазией, оно еле-еле может быть признано державой второй величины. Поэтому ему необходим покровитель, т. е. повелитель вне Италии, и всякий найдет естественным, что после падения Наполеона III князь Бисмарк заступил место *необходимого союзника* этой монархии, созданной пьемонтскою интригою на почве, уготованной

патриотическими усилиями и подвигами Маццини и Гарибальди.

Впрочем, рука великого канцлера пангерманской империи чувствуется теперь в целой Европе, исключая разве только Англии, которая, однако, не без беспокойства смотрит на это возникающее могущество, да еще Испании, обеспеченной против реакционного влияния Германии по крайней мере на первое время своею революциею, равно как и своим географическим положением. Влияние новой империи объясняется изумительным торжеством, одержанным ею над Францией; всякий признает, что она по своему положению, по громадным средствам, завоеванным ею, и по своей внутренней организации занимает ныне решительно первое место между европейскими великими державами и в состоянии дать почувствовать каждой из них свое преобладание; а что влияние ее непременно должно быть реакционным, в этом не может быть и сомнения.

Германия в настоящем своем виде, объединенная гениальным и патриотическим мошенничеством (в политике, равно как и в высших финансовых сферах, мошенничество считается доблестью) князя Бисмарка и опирающаяся, с одной стороны, на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля-императора; а с другой на верноподданнический патрио-

тизм, на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкое мещанство, немецкая бюрократия, немецкая церковь, весь цех немецких ученых и под их соединенным влиянием нередко — увы! — и сам немецкий народ; Германия, говоря я, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции.

Германия — государство по преимуществу, как им была Франция при Людовике XIV и при Наполеоне I, как им не переставала быть Пруссия по настоящее время. Со времени окончательного создания прусского государства Фридрихом II был поднят вопрос: кто кого поглотит, Германия ли Пруссию или Пруссия Германию? Оказывается, что Пруссия съела Германию. Значит, доколе Германия останется государством, несмотря ни на какие мнимо либеральные, конституционные, демократические и даже социально-демократические формы, она будет по необходимости первостепенною и главною представительницею и постоянным источником всех возможных деспотизмов в Европе.

Да, со времени образования новой государственности в истории, с самой половины шестнадцатого века, Германия, причисляя к ней

Австрийскую империю, поскольку она немецкая, никогда не переставала быть, в сущности, главным центром всех реакционных движений в Европе, даже не исключая того времени, когда великий коронованный вольнодумец Фридрих II переписывался с Вольтером. Как умный государственный человек, ученик Маккавелли и учитель Бисмарка, он ругался над всем: над Богом и над людьми, не исключая, разумеется, своих корреспондентов-философов, и верил только в свой *«государственный разум»*, опиравшийся притом, как всегда, на *«божественную силу многочисленных батальионов»* (Бог всегда на стороне сильных батальионов, говорил он), да еще на экономию и возможное совершенство внутреннего административного управления, разумеется, механического и деспотического. В этом, по его, да также и по нашему мнению, заключается, действительно, вся суть государства. Все же остальное лишь невинная фиоритура, имеющая целью обмануть нежные чувства людей, способных вынести сознания суровой истины.

Фридрих II усовершенствовал и окончил государственную машину, построенную его отцом и дедом и подготовленную его предками; и эта машина сделалась в руках достойного преемника его, князя Бисмарка, орудием для завоевания и для возможного пруссогерманизирования Европы.

Германия, сказали мы, со времени реформы не переставала быть главным источником всех реакционных движений в Европе; от половины

XVI века до 1815 года инициатива этого движения принадлежала Австрии. От 1815 до 1866 года она разделилась между Австриею и Пруссиею, однако с преобладанием первой, покуда управлял ею старый князь Меттерних, т. е. до 1848 года. С 1815 года приступил к этому святому союзу чисто германской реакции гораздо более в виде охотника, чем дельца, наш татаро-немецкий, всероссийско-императорский кнут.

Побуждаемые естественным желанием снять с себя тяжкую ответственность за все мерзости, учиненные Священным союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому, что мы страстно желаем ему полнейшего преуспевания и свободы, мы ненавидим эту поганую всероссийскую империю так, как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социальным демократам, программа которых ставит первую целью основание пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся прежде всего к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность, в каком бы то виде ни было, будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее.

В самом деле, императорская Россия, в лице двух венценосцев, Александра I и Николая, казалось, весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы: Александр рыскал с конца в конец и много хлопотал и шумел; Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому, что не хотели, а потому, что не могли, оттого что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы; им предоставлена была лишь почетная роль пугал, действовали же только Австрия, Пруссия и, наконец, под руководством и с позволения той и другой французские Бурбоны (против Испании).

Империя всероссийская только один раз выступила из своих границ, в 1849 году, и то только для спасения Австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжение нынешнего века Россия два раза душила польскую революцию и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю, разумеется, об императорской России. Россия народная немыслима без польской независимости и свободы.

Что русская империя, по существу своему, не может хотеть другого влияния на Европу, кроме самого зловредного и противусвободного, что всякий новый факт государственной жестокости и торжествующего притеснения, всякое новое потопление народного бунта в народной крови, в какой бы то стране ни было,

всегда встретят в ней самые горячие симпатии, кто может в этом сомневаться? Но не в этом дело. Вопрос в том, как велико ее действительное влияние, и занимает ли она по своему уму, могуществу и богатству такое преобладающее положение в Европе, чтобы голос ее был в состоянии решать вопросы?

Достаточно вникнуть в историю последнего шестидесятилетия, а также и в самую суть нашей татаро-немецкой империи, чтобы ответить отрицательно. Россия далеко не такая сильная держава, какую любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших квасных патриотов, ребяческое воображение западных и юго-восточных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклоняться перед всякою военною диктатурою, домашнею и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждою, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение петербургской империи, тот знает, что на западе и против запада она собственной инициативою, не будучи вызвана к тому какою-либо великою западною державою и не иначе как в самом тесном союзе с нею, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла искони только в том, чтобы примазаться как-нибудь к чужому начинанию; и со времени хищнического разделения Польши, задуманно-

го, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собою точно так же и Швецию, Пруссия была именно тою западною державою, которая не переставала оказывать эту услугу всероссийской империи.

В отношении к революционному движению в Европе Россия в руках прусских государственных людей играла роль пугала, а нередко и ширм, за которыми они очень искусно скрывали свои собственные завоевательные и реакционные предприятия. После же удивительного ряда побед, одержанных прусско-германскими войсками во Франции, после окончательного низложения французской гегемонии в Европе и замещения ее гегемонией пангерманскою, ширм этих стало не нужно, и новая империя, осуществившая заповеднейшие мечты немецкого патриотизма, выступила откровенно во всем блеске своего завоевательного могущества и своей систематически реакционной инициативы.

Да, Берлин стал теперь видимою главою и столицею всей живой и действительной реакции в Европе, князь Бисмарк ее главным руководителем и первым министром. Я говорю, реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума выжившая реакция, по преимуществу римско-католическая, бродит еще как зловеющая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе; другая, кнуто-петербургская, положим, хоть и не тень, но тем не менее, лишенная смысла

и будущности, продолжает еще бесчинствовать в пределах всероссийской империи. Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине и распространяется на все страны Европы из новой Германской империи, управляемой государственным, а по этому самому в высшей степени противународным гением князя Бисмарка.

Эта реакция не что иное, как окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках: значит, торжество жидовского царства, банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентскою игрою мнимого конституционализма.

Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции для дальнейшего и полнейшего развития своего требуют тех огромных государственных централизаций, которые только одни способны подчинить многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, волостей и, наконец, областей и народов, это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы, столь же противна их существу, как несовместима

с ними никакая экономическая автономия. Зато они уживаются отлично с так называемую *представительную демократию*; так как эта новейшая государственная форма, основанная на мнимом *господстве мнимой* народной воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо народных собраниях, соединяет в себе два главные условия, необходимые для их преуспеяния, а именно: государственную централизацию и действительное подчинение государя-народа интеллектуальному управляющему им, будто бы представляющему его и непременно эксплуатирующему его меньшинству.

Когда мы будем говорить о социально-политической программе марксистов, лассальянцев и вообще немецких социальных демократов, мы будем иметь случай ближе рассмотреть и уяснить эту фактическую истину. Теперь обратим внимание на другую сторону вопроса.

Всякая эксплуатация народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства и мнимой народной свободы она позолочена ни была, горька для народа. Значит, никакой народ, как бы от природы смирен ни был и как бы послушание властям ни обратилось в привычку, охотно ей подчиняться не захочет; для этого необходимо постоянное принуждение, насилие, значит, необходимы полицейский надзор и военная сила.

Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимо-

стью становится государством завоевательным; если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение или действие ее. Из этого опять-таки следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством; это есть неперенное условие сохранения его.

И точно так же, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно так же, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны стремиться стать единственными, универсальными, всемирными; точно так же новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным; но всемирное государство, разумеется, неосуществимое, могло бы быть во всяком случае только одно; два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны.

Гегемония есть только скромное, возможное обнаружение этого неосуществимого стремления, присущего всякому государству; а первое условие гегемонии это относительное бессилие и подчинение по крайней мере всех окружающих государств. Так, пока существовала гегемония Франции, она была обусловлена государственным бессилием Испании, Италии и Германии, и до сих пор не могут простить

французские государственные люди и между ними г. Тьер, разумеется, первый Наполеону III, что он позволил Италии и Германии объединиться и сплотиться.

Теперь Франция очистила место, и его заняло германское государство, по нашему убеждению, ныне единственное настоящее государство в Европе.

Французскому народу несомненно предстоит еще великая роль в истории, но государственная карьера Франции покончена. Кто сколько-нибудь знает характер французов, тот скажет вместе с нами, что если Франция долго могла быть первенствующею державою, то для нее быть государством второстепенным, даже только равносильным с другими решительно невозможно. Как государство и пока она будет управляема людьми государственными, все равно, г-ном ли Тьером, или г-ном Гамбеттою, или даже Орлеанскими герцогами, она со своим унижением не примирится; она будет готовиться к новой войне и будет стремиться к мести и к восстановлению утраченного первенства.

Может ли она достигнуть его? Решительно нет. На это много причин; упомянем две главные. Последние события доказали, что патриотизм, эта высшая *государственная* добродетель, эта душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального тщеславия; но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезано в корне буржуазною

необходимостью и привычкой жертвовать *интересам реальным* всеми *идеальными интересами*, что во время последней войны оно не могло даже, как делало прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов лавочников, дельцов, биржевых спекуляторов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов, собственников и иезуитами воспитанных дворян. Все трусили, все изменили, все бросились только спасать свое имущество, все пользовались несчастьем Франции, чтобы только интриговать против Франции; все старались нахальнейшим образом опередить друг друга в милости беспощадного и надменного победителя, ставшего распорядителем французских судеб; все, единодушно и во что бы то ни стало проповедовали покорение, смирение и молили о мире... Теперь все эти развратные болтуны опять занациональничали, захвастали, но этот смешной и отвратительный крик дешевых героев не в состоянии заглушить чересчур громкого свидетельства их вчерашней подлости.

Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию французский мужик, с тех пор как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Ну, тогда было другое дело: благодаря дешевой продаже церковных и дворянских

имений он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения дворянская эмиграция, шедшая вслед за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную собственность; теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества. За исключением Эльзаса и Лотарингии, где странным образом, как бы на смех немцам, упорствующим видеть в них чисто немецкие провинции, проявились несомненные признаки патриотизма, во всей средней Франции крестьяне гнали французских и иностранных волонтеров, вооружившихся на спасение Франции, отказывая им во всем, нередко даже выдавая их пруссакам и, напротив, самым гостеприимным образом встречали немцев.

Можно сказать с полной истиною, что патриотизм сохранился только в городском пролетариате.

В Париже, равно как и во всех других провинциях и городах Франции, только он один хотел и требовал всенародного вооружения и войны насмерть. И странное явление: за это именно на него обрушилась вся ненависть имущих классов, точно как будто бы им стало обидно, что «младшие братья» (выражение г. Гамбетты) выказывают более добродетели, патриотической преданности, чем старшие.

Впрочем, имущие классы были отчасти правы. То, что двигало пролетариат городской, не

было чистым патриотизмом в древнем и тесном смысле этого слова. Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вместе с тем узкое, исключительное, противучеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, любя страстно свое отечество и все свое, так же страстно ненавидит все иностранное, ни дать ни взять, как наши славянофилы. Во французском же городском пролетариате не осталось даже и следа такой ненависти. Напротив, в последние десятилетия, можно сказать, с 1848 года и даже гораздо прежде, под влиянием социалистической пропаганды в нем развилось положительно братское отношение к пролетариям всех стран рядом со столь же решительным равнодушием к так называемому величию и к славе Франции. Французские работники были противниками войны, затеянной последним Наполеоном, и накануне этой войны они манифестом, подписанным парижскими членами Интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии: и когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма.

Война эта началась ровно шесть лет после первого основания Интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате

французском, но также и между рабочими многих других стран, особенно латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайно широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узости страстей патриотических или местных.

Это новое мирозерцание высказалось торжественно уже в 1868 году на народном митинге — и где бы вы думали, в какой стране? — в Австрии, в Вене, в ответ на целый ряд политических и патриотических предложений, сделанных венским работникам сообща г-ми бюргерами-демократами южно-германскими и австрийскими и клонившихся к торжественному признанию и провозглашению пангерманского, единого и нераздельного отечества. К ужасу своему, они услышали следующий ответ: «Что вы толкуете нам о немецком отечестве? Мы работники, эксплуатируемые, вечно обманутые и утесненные вами, и все работники, к какой бы стране они ни принадлежали, эксплуатируемые и утесненные пролетарии целого мира нам братья; все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплуататоры нам враги. Интернациональный лагерь рабочих — вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплуататоров — вот чуждая и враждебная нам страна».

И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму «к парижским братьям как пионерам всемирно-рабочего освобождения».

Такой ответ венских рабочих, вытекший, помимо всех политических рассуждений, прямо из глубины народного инстинкта, наделал в свое время много шума в Германии, перепугал всех бюргеров-демократов, не исключая почтенного ветерана и предводителя этой партии, доктора Иоганна Якоби, и оскорбил не только их патриотические чувства, но и государственную веру школы Лассаля и Маркса. Вероятно, по совету последнего г. Либкнехт, в настоящее время считающийся одним из глав социальных демократов Германии, но тогда бывший еще сам членом бюргерско-демократической партии (покойной народной партии), тотчас отправился из Лейпцига в Вену для переговоров с венскими работниками, «политическая бестактность» которых дала повод к такому скандалу. Должно отдать ему справедливость, он действовал так успешно, что несколько месяцев спустя, а именно в августе 1868 года, на Нюрнбергском конгрессе германских работников все представители австрийского пролетариата без всякого протеста подписали узкую патриотическую программу социально-демократической партии.

Но это самое обнаружило только глубокое различие, существующее между политическим направлением предводителей, более или менее ученых и буржуазных, этой партии и собственным революционным инстинктом германского или по крайней мере австрийского пролетариата. Правда, в Германии и в Австрии этот народный инстинкт, подавляемый и беспрестанно

отклоняемый от своей настоящей цели пропагандою партии более политической, чем революционно-социальной, с 1868 года мало развился вперед и не мог перейти в сознание народное; зато в странах латинского племени, в Бельгии, в Испании, в Италии и особенно во Франции, свободный от этого гнета и от этого систематического развращения, он развился широко, на полной свободе, и обратился действительно в революционное сознание городского и фабричного пролетариата. (Нет сомнения, что усилия английских работников, стремящихся лишь только к собственному освобождению или к улучшению своей собственной участи, неизменно образом обращаются в пользу всего человечества; но англичане этого не знают и не ищут; французы же, напротив, знают и ищут, что, по-нашему, составляет огромную разницу в пользу французов и дает действительно всемирный смысл и характер всем их революционным движениям.)

Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англии, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в девяностых годах, что, борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество.

Эти великие слова, употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные, — свобода, равенство и брат-

ство всего человеческого рода встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою и определили, даже помимо их сознания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя. Напрасно политические позитивисты и радикалы-республиканцы вроде г. Гамбетты старались и стараются отклонить французский пролетариат от этого космополитического направления и уверить его, что он должен подумать об устройстве своих собственных, исключительно национальных дел, связанных с патриотическою идеею величия, славы и политического преобладания французского государства, обеспечить в нем свою собственную свободу и свое собственное благосостояние, прежде чем мечтать об освобождении всего человечества, целого мира. Усилия их, по-видимому, весьма благоразумны, но тщетны – природы не переделаешь, а эта мечта стала природою французского пролетариата, и она выгнала из его воображения и сердца последние остатки государственного патриотизма.

Происшествия 1870–1871 годов доказали это вполне. Да, во всех городах Франции пролетариат требовал поголовного вооружения и опол-

чения против немцев; и нет сомнения, что он осуществил бы это намерение, если бы не парализовал его, с одной стороны, подлый страх и повсеместная измена большинства буржуазного класса, предпочитавшего тысячу раз покориться пруссакам, чем дать оружие в руки пролетариата; а с другой стороны, систематически реакционное противодействие «правительства народной защиты» в Париже и в провинции, оппозиция, столь же противонародная, диктатора, патриота Гамбетты.

Но, вооружаясь, насколько при таких обстоятельствах это было возможно, против немецких завоевателей, французские работники были твердо убеждены, что будут бороться столько же за свободу и права немецкого пролетария, сколько и за свои собственные. Они заботились не о величии и чести французского государства, а о победе пролетариата над ненавистною военною силою, служащею против них в руках буржуазии орудием порабощения. Они ненавидели немецкие войска не потому, что они немецкие, а потому, что они войска. Войска, употребленные г. Тьером против Парижской Коммуны, были чисто французские; однако они совершили в несколько дней более злодеяний и преступлений, чем немецкие войска во все время войны. Для пролетариата отныне всякое войско, свое или чужое, равно враждебно, и французские работники это знают; поэтому их ополчение отнюдь не было ополчением патриотическим.

Восстание Парижской Коммуны против версальского *народного* собрания и против спасителя отечества Тьера, совершенное парижскими работниками в виду немецких войск, еще окружавших Париж, обнаруживает и объясняет вполне ту единственную страсть, которая ныне двигает французский пролетариат, для которого отныне нет и не может быть другого дела, другой цели и другой войны, кроме революционно-социальных.

Это, с другой стороны, вполне объясняет неистовое исступление, овладевшее сердцами версальских правителей и представителей, а также и неслыханные злодеяния, совершенные под их прямым руководством и благословением над побежденными коммунарами. И в самом деле, с точки зрения государственного патриотизма, парижские работники совершили ужасное преступление: в виду немецких войск, еще окружавших Париж и только что разгромивших отечество, разбивших в прах его национальное могущество и величие, поразивших в самом сердце национальную честь, они, обуреваемые дикою космополитическою социально-революционною страстью, провозгласили окончательное разрушение французского государства, расторжение государственного единства Франции, несовместного с автономиею французских коммун. Немцы только уменьшили границы и силу их политического отечества, а они захотели совсем убить его, и как бы для обнаружения этой изменниче-

ской цели свалили в прах Вандомскую колонну, величественную свидетельницу прошедшей французской славы!

С политически-патриотической точки зрения какое преступление могло сравниться с таким неслыханным святотатством! И вспомните, что парижский пролетариат совершил его не случайно, не под влиянием каких-нибудь демагогов и не в одну из тех минут безумного увлечения, которые нередко встречаются в истории каждого народа, и особенно французского. Нет, в этот раз парижские работники действовали спокойно, сознательно. Это фактическое отрицание государственного патриотизма было, разумеется, выражением сильной народной страсти, но страсти не мимолетной, а глубокой, можно сказать, обдуманной и уже обратившейся в народное сознание, страсти, раскрывшейся вдруг перед испуганным миром, как бездонная пропасть, готовая поглотить весь настоящий строй общества со всеми его учреждениями, удобствами, привилегиями и со всею цивилизацией...

Тут оказалось, с ясностью, столь же ужасною, сколько и несомненною, что отныне между диким, голодным пролетариатом, обуреваемым социально-революционными страстями и стремящимся неотступно к созданию иного мира на основании начал человеческой истины, справедливости, свободы, равенства и братства, — начал, терпимых в порядочном обществе разве только как невинный предмет риторических

упражнений, — и между пресыщенным и образованным миром привилегированных классов, отстаивающих с отчаянною энергиею порядок государственный, юридический, метафизический, богословский и военно-полицейский, как последнюю крепость, охраняющую в настоящее время драгоценную привилегию экономической эксплуатации, — что между этими двумя мирами, говоря я, между чернорабочим людом и образованным обществом, соединяющим в себе, как известно, всевозможные достоинства, красоты и добродетели, всякое примирение невозможно.

Война на жизнь и на смерть! И не в одной только Франции, а в целой Европе, и война эта может кончиться только решительною победою одной из сторон, решительным низложением другой.

Или буржуазно-образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штыков, кнута или палки, благословенных, разумеется, каким-нибудь Богом и объясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать по-прежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, т. е. в форме военной диктатуры или императорства; или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне буржуазную эксплуатацию и основанную на ней буржуазную цивилизацию, а это значит торже-

ство социальной революции, сокрушение всего, что называется государством.

Итак, государство, с одной стороны, социальная революция, с другой, — вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе, но во Франции осязательнее, чем в какой-либо другой стране. Государственный мир, обнимающий всю буржуазию, включая, разумеется, и обмещанившееся дворянство, нашел свое средоточие, последнее убежище и последнюю защиту в Версале. Социальная революция, потерпевшая страшное поражение в Париже, но отнюдь не уничтоженная и даже не побежденная, обнимая теперь, как и всегда, весь городской и фабричный пролетариат, начинает уже захватывать свою неустанную пропагандой и сельское население, по крайней мере, в Южной Франции, где эта пропаганда ведется и распространяется в самых широких размерах. И вот это враждебное противоположение двух отныне непримиримых миров составляет вторую причину, по которой для Франции стало решительно невозможно сделаться вновь первостепенным, преобладающим государством.

Все привилегированные слои французского общества, без сомнения, желали бы поставить свое отечество вновь в это блестящее и внушительное положение; но вместе с тем они до такой степени пропитаны страстью любостыжания, обогащения во что бы то ни стало и антипатриотическим эгоизмом, что для осуществле-

ния патриотической цели они готовы, правда, принести в жертву имущество, жизнь, свободу пролетариата, но не откажутся ни от одной из своих выгодных привилегий и скорее подвергнутся чужеземному игу, чем поступятся своею собственностью или согласятся на уравнивание состояний и прав.

То, что делается теперь на наших глазах, вполне подтверждает это. Когда правительство г. Тьера официально объявило версальскому собранию о заключении окончательного договора с берлинским кабинетом, в силу чего немецкие войска должны будут очистить в сентябре еще занимаемые ими провинции Франции, большинство собрания, представляющее коалицию привилегированных классов во Франции, опустило головы; французские фонды, представляющие их интересы еще действительнее, живее, — пали, как будто после государственной катастрофы... Оказалось, что *ненавистное, насильственное и позорное* для Франции присутствие победоносного немецкого воинства для привилегированных французских патриотов, представителей буржуазной доблести и буржуазной цивилизации, было утешением, опорой, спасением и что его предстоящее удаление однозначаче для них с осуждением на смерть.

Значит, странный патриотизм французской буржуазии ищет своего спасения в позорном покорении отечества. Тем же, кто еще может сомневаться в этом, укажем на любой консервативный французский журнал. Известно, до

какой степени все оттенки реакционной партии, бонапартисты, легитимисты, орлеанисты, испуганы, взволнованы, взбешены избранием г. Бароде депутатом в Париже. Но кто такой этот Бароде? Один из многочисленных пошляков партии г. Гамбетты, консерватор по положению, по инстинкту и по направлению, только с демократическими и республиканскими фразами, отнюдь не мешающими, а напротив, чрезвычайно помогающими ныне исполнению самых реакционных мер, человек, одним словом, между которым и революцией нет и никогда не было ничего общего и который в 1870 и 1871 годах был одним из самых ревностных поборников буржуазного порядка в Лионе. Но он в настоящее время, как и много других буржуазных патриотов, находит для себя выгодным подвизаться под знаменем, отнюдь не революционным, г. Гамбетты. В этом смысле он был избран Парижем в пику президенту республики Тьеру и монархическому псевдонародному собранию, царствующему в Версале. И выбора этого ничтожного лица было достаточно, чтобы взбудоражить всю консервативную партию! И знаете ли, какой их главный аргумент? Немцы!

Раскройте любой журнал и вы увидите, как они грозят французскому пролетариату законным гневом князя Бисмарка и его императора, — каков патриотизм! Да они просто зовут немцев на помощь против грозящей им французской социальной революции. В своем дурац-

ком испуге они приняли даже невинного Бароде за революционного социалиста.

Такое настроение французской буржуазии подает мало надежды на восстановление государственного могущества и преобладания Франции посредством патриотизма привилегированных классов.

Патриотизм французского пролетариата также не представляет много надежды. Границы его отечества расширились до того, что обнимают ныне пролетариат целого мира в противоположность всей буржуазии, не исключая, разумеется, и французской. Заявления Парижской Коммуны в этом смысле решительны; а симпатии, высказываемые ныне так ясно французскими работниками к испанской революции, особенно в Южной Франции, где обнаруживается явное стремление пролетариата к братскому соединению с испанским пролетариатом и даже к образованию с ним народной федерации, основанной на освобожденном труде и на коллективной собственности, наперекор всем национальным различиям и государственным границам, — эти симпатии и стремления, говорю я, доказывают, что собственно для французского пролетариата, так же как и для привилегированных классов, время государственного патриотизма прошло.

А при таком отсутствии патриотизма во всех слоях французского общества и при открытой ныне непримиримой войне, существующей между ними, как восстановить сильное государ-

ство? Тут все государственное уменье престарелого президента республики пропадет даром, и все ужасные жертвы, принесенные им на алтарь политического отечества, как, например, бесчеловечное избиение многих десятков тысяч парижских коммунаров с женщинами и детьми и столь же бесчеловечные высылки других десятков тысяч в Новую Каледонию, окажутся несомненно бесполезными жертвами.

Напрасно г. Тьер силится восстановить кредит, внутреннее спокойствие, старый порядок и военную силу Франции. Государственное здание, потрясенное и беспрестанно вновь потрясаемое в самой основе антагонизмом пролетариата и буржуазии, трещит, лопается и каждую минуту грозит падением. Где же такому старому, неизлечимо больному государству бороться с юным и до сих пор еще здоровым государством германским.

Отныне, повторяю я, роль Франции как первостепенной державы окончена. Время ее политического могущества прошло так же безвозвратно, как прошло время ее литературного классицизма, монархического и республиканского. Все старые основы государства в ней сгнили, и напрасно силится Тьер построить на них свою консервативную республику, т. е. старое монархическое государство с подновленною мнимо республиканскою вывескою. Но так же напрасно глава нынешней радикальной партии, г. Гамбетта, очевидный наследник г. Тьера, обещает построить новое государство, будто бы

искренне республиканское и демократическое, на основаниях будто бы новых, потому что эти основания не существуют и существовать не могут.

В настоящее время серьезное, сильное государство может иметь только одно прочное основание – военную и бюрократическую централизацию. Между монархией и самой демократической республикой существует только одно существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной.

Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и смирить; но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие, этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная *политическая* республика, народная только в смысле лжи, известной под именем на-

родного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т. е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше понимающего настоящие интересы народа, чем сам народ.

Итак, удовлетворение народной страсти и народных требований для классов имущих и управляющих решительно невозможно; поэтому остается одно средство — *государственное насилие*, одним словом, *Государство*, потому что Государство именно и значит *насилие*, господство посредством насилия, замаскированного, если можно, а в крайнем случае бесцеремонного и откровенного. Но г. Гамбетта столько же представитель буржуазных интересов, как и сам г. Тьер; наравне с ним он хочет сильного государства и безусловного господства среднего класса с присоединением, быть может, обуржуазившегося слоя рабочих, составляющего во Франции весьма незначительную часть всего пролетариата. Вся разница между ним и г. Тьером состоит в том, что последний, одержимый предубеждениями и предрассудками своего времени, ищет опоры и спасенья только в чрезвы-

чайно богатой буржуазии и с недоверием смотрит на десятки или даже сотни тысяч новых претендентов на управление из мелкой буржуазии и из вышеупомянутого класса рабочих, стремящихся к буржуазии; в то время как г. Гамбетта, отвергнутый высшими классами, до сих пор исключительно правившими Францией, стремится основать свое политическое могущество, свою республикански-демократическую диктатуру именно на том огромном и чисто буржуазном большинстве, которое до сих пор оставалось вне выгод и почестей государственного управления.

Он уверен, впрочем, и мы думаем, совершенно справедливо, что лишь только ему удастся с помощью этого большинства овладеть властью, сами богатые классы, банкиры, крупные землевладельцы, купцы и промышленники, одним словом, все значительные спекуляторы, обогащающиеся более других народным трудом, обратятся к нему, признают его, в свою очередь, и будут искать его союза и дружбы, в которых он им, разумеется, не откажет, потому что как настоящий государственный человек он слишком хорошо знает, что никакое государство, и особенно сильное, не может существовать без их союза и дружбы.

Это значит, что гамбеттовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники; и именно потому, что оно будет облечено в широкие демократические формы, оно сильнее

и гораздо вернее будет гарантировать хищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплуатацию народного труда.

Как государственный человек новейшей школы г. Гамбетта нисколько не боится самых широко-демократических форм, ни права поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплуатирующих его лиц и классов; он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как когда опирается на мнимое представительство мнимой народной воли.

Итак, если бы французский пролетариат мог увлечься обещаниями честолюбивого адвоката, если бы г. Гамбетте удалось уложить этот беспокойный пролетариат на прокрустову кровать своей демократической республики, то, нет сомнения, он успел бы восстановить французское государство во всем его прежнем величии и преобладании.

Но в том-то и дело, что эта попытка удалась ему не может. Нет теперь на свете такой силы, нет такого политического или религиозного средства, которое могло бы задушить в пролетариате какой бы то ни было страны, а особенно во французском пролетариате, стремление к экономическому освобождению и к социальному равенству. Что ни делай Гамбетта, грози он штыками, ласкай он словами, ему не справиться с богатырскою силою, скрывающейся ныне в этом стремлении, и никогда не удастся ему за-

прячь по-прежнему массы чернорабочих в блестящую государственную колесницу. Никакими цветами красноречия не успеет он забросать и сравнять пропасть, отделяющую безвозвратно буржуазию от пролетариата, положить конец отчаянной борьбе между ними. Эта борьба потребует употребления всех государственных средств и сил, так что для удержания за собою внешнего преобладания между европейскими государствами у французского государства не останется ни средств, ни сил. Куда же ему тягаться с империею Бисмарка!

Что ни говори и как ни хвастай французские государственные патриоты, Франция как государство осуждена отныне занимать скромное, весьма второстепенное место; мало того, она должна будет подчиниться верховному руководству, дружески-почтительному влиянию Германской империи, точно так, как до 1870 года итальянское государство подчинялось политике Французской империи.

Положение, пожалуй, довольно выгодное для французских спекуляторов, обретающих значительное утешение на всемирном рынке, но отнюдь не завидное с точки зрения национального тщеславия, которым так преисполнены французские государственные патриоты. До 1870 года можно было думать, что это тщеславие так сильно, что оно в состоянии бросить самых тесных и упорных поборников буржуазных привилегий в Социальную Революцию, лишь бы только избавить Францию от позора

быть побежденною и покоренною немцами. Но уже после 1870 года этого никто ждать от них не будет; все знают, что они скорее согласятся на всякий позор, даже на подчинение немецкому покровительству, чем откажутся от своего прибыльного господства над своим собственным пролетариатом.

Не ясно ли, что французское государство никогда уже не восстановится в своем прежнем могуществе? Но значит ли это, что всемирная и, легко сказать, передовая роль Франции кончилась? Отнюдь нет; это значит только, что, потеряв безвозвратно свое величие как государство, Франция должна будет искать нового величия в Социальной Революции.

Но если не Франция, то какое другое государство в Европе может состязаться с новою Германскою империею?

Разумеется, не Великобритания. Во-первых, Англия никогда, собственно, не была государством в строгом и новейшем смысле этого слова, т. е. в смысле военной, полицейской и бюрократической централизации. Англия представляет скорее федерацию привилегированных интересов, автономное общество, в котором преобладала сначала поземельная аристократия, а теперь вместе с нею преобладает аристократия денежная, но в котором, точно так же, как во Франции, хотя и в несколько других формах, пролетариат ясно и грозно стремится к уравниванию экономического состояния и политических прав.

Разумеется, влияние Англии на политические дела континентальной Европы было всегда велико, но оно основывалось всегда гораздо более на богатстве, чем на организации военной силы. В настоящее время, как всем известно, оно значительно уменьшилось. Еще тридцать лет тому назад оно не перенесло бы так спокойно ни завоевания рейнских провинций немцами, ни восстановления русского преобладания на Черном море, ни похода русских в Хиву. Такая систематическая уступчивость с ее стороны доказывает несомненную и притом с каждым годом все более возрастающую политическую несостоятельность. Главная причина этой несостоятельности — все тот же антагонизм чернорабочего мира с миром эксплуатирующей, политически господствующей буржуазии.

В Англии Социальная Революция гораздо ближе, чем думают, и нигде она не будет так ужасна, потому что нигде она не встретит такого отчаянного и так хорошо организованного сопротивления, как именно в ней.

Об Испании и Италии даже и говорить нечего. Никогда не сделаются они грозными, ни даже сильными государствами, не потому, чтобы у них не было материальных средств, а потому, что народный дух как той, так и другой влечет их неотвратно к совершенно иной цели.

Испания, совращенная со своего нормального пути католическим изуверством и деспотизмом Карла V и Филиппа II и обогатившаяся вдруг не народным трудом, а американским се-

ребром и золотом, в XVI и XVII веках попробовала вынести на своих плечах незавидную честь насильственного основания всемирной монархии. Она дорого поплатилась за это. Время ее могущества было именно началом ее умственного, нравственного и материального обнищания. После короткого и неестественного напряжения всех сил, сделавшего ее страшною и ненавистною для целой Европы и даже успевшего остановить на минуту, но только на одну минуту, прогрессивное движение европейского общества, она как будто вдруг надорвалась и впадала в крайнюю степень отупения, расслабления и апатии, в которой и оставалась, окончательно опозоренная чудовищным и идиотским управлением Бурбонов, до тех пор пока Наполеон I-й своим хищническим вторжением в ее пределы не пробудил ее от двухвекового сна.

Оказалось, что Испания не умерла. Она спаслась от чужеземного ига чисто народным восстанием и доказала, что народные массы, невежественные и безоружные, в состоянии сопротивляться лучшим войскам в мире, если только они одушевлены сильною и единодушною страстью. Она доказала даже больше, а именно, что для сохранения свободы, силы и страсти народной невежество даже предпочтительнее буржуазной цивилизации.

Напрасно немцы кичатся и сравнивают свое национальное, но далеко не народное восстание 1812 и 1813 годов с испанским. Испанцы восстали беззащитные против огромного могущества

до тех пор непобедимого завоевателя; немцы же восстали против Наполеона лишь после совершенного поражения, нанесенного ему в России. До тех пор не было примера, чтобы какая-нибудь немецкая деревня или какой немецкий город посмел оказать хотя самое ничтожное сопротивление победоносным французским войскам. Немцы так привыкли к повиновению, этой первой государственной добродетели, что воля победителей становилась для них священна, как скоро они фактически заменяли волю домашних властей. Сами прусские генералы, сдавая одну за другой крепости, самые крепкие позиции и столицы, повторяли достопамятные и обратившиеся в пословицу слова тогдашнего берлинского коменданта: «Спокойствие есть первая обязанность гражданина».

Только один Тироль составил тогда исключение. В Тироле Наполеон встретил действительно народное сопротивление. Но Тироль, как известно, составляет самую отсталую и необразованную часть Германии, и пример его не нашел подражателей ни в одной из других областей просвещенной Германии.

Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности, своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы; они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, по-видимому, невозможных, что, имея

лишь очень мало или не имея вовсе собственности, они не возвращены ею. Когда это нужно для обороны или для победы, они не остановятся перед истреблением своих собственных селений и городов, а так как собственность большею частью чужая, то в них обнаруживается нередко положительная страсть к разрушению. Этой отрицательной страсти далеко не достаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но без нее последнее немислимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и только посредством него зарождаются и возникают новые миры.

Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазною цивилизациею, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности. Бюргер или буржуа отдадут скорее жизнь, свободу, честь, но не отступятся от своей собственности; самая мысль о посягательстве на нее, о разрушении ее для какой бы то ни было цели кажется им святотатством; вот почему они никогда не согласятся на уничтожение своих городов и домов, даже когда это потребует защита края; и вот почему французские буржуа в 1870 году и немецкое бюргерство до самого 1813 года так легко поддавались счастливым завоевателям. Мы видели, что обладания собственностью было достаточно, чтобы развратить французское крестьянство и убить в нем последнюю искру патриотизма.

Итак, чтобы сказать последнее слово о так называемом национальном восстании Германии против Наполеона, повторим, во-первых, что оно воспоследовало только тогда, когда его уничтоженные войска бежали из России и когда прусские и другие немецкие корпуса, незадолго перед тем составлявшие часть наполеоновской армии, перешли на сторону русских; и, во-вторых, что даже и тогда в Германии не было собственно народного поголовного восстания, что города и села оставались спокойны по-прежнему, а образовались только вольные отряды молодых людей, большею частью студентов, которые тотчас же были включены в состав регулярного войска, что совершенно противно методу и духу народных восстаний.

Одним словом, в Германии юные граждане или, точнее, верноподданные, возбужденные горячею проповедью своих философов и воспламененные песнями своих поэтов, вооружились для защиты и для восстановления германского государства, потому что именно в это время и пробудилась в Германии мысль о государстве пангерманском. Между тем испанский народ встал поголовно, чтобы отстоять против дерзкого и могучего похитителя свободу родины и самостоятельность народной жизни.

С тех пор Испания не засыпала, но в продолжение 60 лет мучилась, отыскивая себе новые формы для новой жизни. Бедная, чего она не перепробовала! От абсолютной монархии, два

раза восстанавливаемой, до конституции королевы Изабеллы, от Эспартеро до Нарваэса, от Нарваэса до Прима и от последнего до короля Амедея, Сагасты и Сорильи, она как бы хотела примерить всевозможные видоизменения конституционной монархии, и все оказались для нее тесными, разорительными, невозможными. Также невозможна оказывается теперь консервативная республика, т. е. господство спекуляторов, богатых собственников и банкиров под республиканскими формами. Такою же невозможностью окажется скоро и политическая мелкобуржуазная федерация, вроде швейцарской.

Испаниею овладел не на шутку черт революционного социализма. Андалузские и эстремадурские крестьяне, не спрашиваясь никого и не ожидая ничьих указаний, захватили уже и все далее захватывают земли прежних землевладельцев. Каталония и во главе ее Барселона громко заявляют свою независимость, свою автономию. Мадридский народ провозглашает федеральную республику и не соглашается подчинить революцию будущим указам учредительного собрания. В северных провинциях, находящихся будто бы во власти карлистской реакции, совершается явно Социальная Революция: провозглашаются фуэросы, независимость областей и общин, жгутся все судебные и гражданские акты; войско во всей Испании братается с народом и гонит своих офицеров. Началось всеобщее, публичное и частное, банк-

ротство — первое условие социально-экономической революции.

Одним словом, разгром и распадение окончательное, и все это валится само собою, разбитое или раздробленное своею собственною гниlostью. Нет более ни финансов, ни войска, ни суда, ни полиции; нет государственной силы, нет государства, остается могучий, свежий народ, одержимый ныне единою социально-революционную страстью. Под коллективным руководством Интернационала и Союза Социальных Революционеров он сплочивает и организует свою силу и готовится на развалинах распадающегося государства и буржуазного мира основать собственный мир освобожденного работника-человека.

Италия столь же близка к Социальной Революции, как и сама Испания. В ней также, несмотря на все старания конституционных монархистов и несмотря даже на геройские, но тщетные усилия двух великих вождей, Маццини и Гарибальди, не принялась, да и никогда не примется идея государственности, потому что противна настоящему духу и всем современным инстинктивным стремлениям и материальным требованиям бесчисленного деревенского и городского пролетариата.

Так же как Испания, Италия, утратившая уже очень давно и, главное, безвозвратно централистические, или единоподержавные, предания древнего Рима, предания, сохранившиеся в книгах Данте, Макиавелли и в новейшей политиче-

ской литературе, но отнюдь не в живой памяти народа, — Италия, говорю я, сохранила только одну живую традицию абсолютной автономии даже не областей, а общины. К этому единственному политическому понятию, существующему собственно в народе, присоедините исторически-этнографическую разнородность областей, говорящих на диалектах столь различных, что люди одной области с трудом понимают, а иногда вовсе не понимают людей других областей. Понятно, стало быть, как далека Италия от осуществления новейшего политического идеала государственного единства. Но это отнюдь не значит, чтобы Италия была общественно разьединена. Напротив, несмотря на все различия, существующие в наречиях, обычаях и нравах, есть общий итальянский характер и тип, по которым вы сейчас отличите итальянца от человека всякого другого племени, даже южного.

С другой стороны, действительная солидарность материальных интересов и удивительная тождественность нравственных и умственных стремлений самым тесным образом соединяют и сплочивают все итальянские области между собою. Но замечательно, что все эти интересы, равно как и эти стремления, обращены именно против насильственного политического единства и, напротив, клонятся все к установлению единства общественного; так что можно сказать и доказать бесчисленными фактами из настоящей жизни Италии, что насильственно-политическое, или государственное, единство ее имело